



Говорят, каждому поколению выпадают свои испытания. Наше поколение сейчас называют детьми войны. И не только потому, что на нашу долю выпали ужасы военного времени. Мы пережили вдобавок испытания голодом и бедностью. С раннего детства мы не понаслышке знали, что такое тяжкий труд. Дети войны — особенные люди. Об этом я могу судить по собственной жизни.

Родилась я в живописном селе на Полесье, каких немало в Украине. Наша хатка стояла на пригорке. Она была маленькой и старой. Из-за своего преклонного возраста хатка покосилась и вросла в землю. У крыльца росла старая груша-дичка с толстым стволом и густыми раскидистыми ветвями. Летом ее тень закрывала от солнца лавку и стол, которые смастерил отец. Весной хатку, стоявшую в грустной задумчивости, окружал буйный цвет вишен, слив, яблонь и сирени. Когда дыхание свежего весеннего ветра легко касалось деревьев, белые лепестки метелью осыпались на соломенную стреху. Тогда наша хатка переставала казаться такой грустной. И уже веселее тянулась своей покосившейся трубой туда, где жаворонок пряд в небе золотую нить своей песни. А еще возле хаты и у плетня мать всегда сажала цветы. Больше всего мне нравились неприхотливые, но гордые мальвы. Эти цветы радовали глаз все лето. К тому же они были разные: и светло-розовые, и белые, и ярко-красные. Красивые и практичные — из цветков мальвы можно было

сделать симпатичную куклу. Сорвешь розовый — и вот тебе нарядная принцесса в розовом платье, возьмешь красный — готова подружка принцессы!

Через огород тянулась узенькая тропинка, поросшая мягким спорышем. По утрам трава покрывалась росой и становилась похожей на прохладный упругий коврик. Если пробежать этой узкой росистой стежкой через сад и огород, то окажешься у самого берега небольшой тихой речушки. Сюда мы ходили по утрам умываться. Мыла не было, зато у берега росла травка с беленькими цветочками, которую мы так и называли — мыло. Если ее как следует размять, она начинала мылиться. Бежишь утром к речке, над которой висит седой туман, — роса обжигает босые ноги, аж дух захватывает. Плеснешь в лицо холодной воды — куда и сон делся! Зато сразу чувствуешь и бодрость, и прилив сил.

До самого огорода тянулась тихая заводь, затененная старой-престарой вербой с оголенными корнями. Отец говорил, что эту вербу сажал еще его отец, наш дед. Вода в речке чистая и прозрачная, словно хрусталь. Летом можно было наблюдать, как стайки подвижных мальков играли в воде, то выскакивая на солнце, то снова прячась в тень вербы. Иногда к берегу подплывала большая медлительная рыбина, утыкалась носом в обросший водяным мхом камень и подолгу стояла, как привязанная, лениво поводя широким хвостом. Зимой лед сковывал речку, и тогда прямо с огорода можно было съехать по скользанке просто на лед. Если бы только наше детство было таким же прекрасным, как многоцветный и солнечный мир вокруг!

Я, Мария, была в семье старшим ребенком. Родилась я в 1936 году, а еще через два года родился мой брат Сашко. Младшая сестра, Софийка, появилась на свет в 1941

году. Наша мать всю жизнь работала в колхозе. Она была небольшого роста, белокурая, с красивым голосом. Отец тоже был простым колхозником. Высокий, стройный и темноволосый — настоящий красавец. Вместе с нами в маленькой хатке жила сестра отца, которая не вышла замуж и своих детей не имела. Мы трое были ей вместо родных. Все звали ее Тетей, и так прилипло к ней это слово, что временами мы просто забывали ее имя — Тетя и Тетя. А еще с нами жили сестра матери и ее дочка Наталья.

И все было бы хорошо, если б в нашей хате надолго не поселилась нужда, хоть родители и работали с утра до темноты. Мать работала в колхозе, но не за деньги, а за трудодни. В конце года на трудодень выдавали по пятьдесят, а в лучшем случае — по сто граммов зерна. Это зерно мололи на жерновах, сделанных из двух камней. Отец тоже работал в колхозе, но зерна, которое зарабатывали родители, на нашу большую семью никогда не хватало. Тогда отец шел по соседним селам — смотреть, кто строит новую хату. Он подходил к людям и спрашивал, не нужен ли мастер, чтобы покрыть хату соломой, потому что очень искусно умел это делать. Как-то отец снимал сгнившую соломенную стреху и нашел там кусочек старого-престарого желтого сала. Он не сказал о нем хозяевам, спрятал за пазуху и принес домой. Сало было вонючее, почти коричневое, но каким же вкусным оно нам показалось! У нас в семье тогда был настоящий праздник. А однажды в старой кровле отец нашел спрятанные мелкие деньги. Может, и взял он грех на душу, но не сказал хозяевам про находку и принес те копейки домой.

С самых ранних лет мы, дети, были приучены ко всякой работе. Сашко пас корову, без которой мы, наверно, не выжили бы. Соберет мать ему с утра узелок, а в нем —

краюха хлеба и одна картофелина, умоется слезами, провоя маленького, а сама — на работу. А мы с сестричками берем мешки и идем в конопляник рвать сорную траву — ежовник для коровы. Правда, намного больше ежовника росло на полях свеклы и картофеля, но туда ходить нам не разрешали. А конопля высокая — нам она казалась настоящим лесом. Ветер подует, стебли конопли зловеще закачаются, зашумят... страшно, но что поделаешь? Там можно было, по крайней мере, спрятаться, чтобы нарвать бурьяна, а потом засушить его на зиму для коровки-кормилицы. Хотя на самом деле молоко мы пили редко. Из него делали творог, собирали сливки, и все это Тетя несла в город, за пятнадцать километров, чтобы продать на базаре и выторговать какую-никакую копеечку. Снесет курица яйцо — и его на базаре продадут, сами не едим, только облизываемся.

Рвем однажды траву в коноплянике, а подружка Валя решила меня слегка попугать.

— Марийка, а знаешь, говорят, что у нас в конопле ходит Дурная Баба, — сообщает Валя, а глаза ну до того хитрые!

— Шутишь? — спрашиваю.

— Честное слово! — отвечает совершенно серьезно.

— А ты видела ее? — спрашиваю, потому что становится немного не по себе.

Тут еще и ветер поднялся, конопля над головами качается, шумит.

— Я не видела, а люди видели. Может, домой пойдем?

— Нет, — отвечаю и начинаю побыстрее запихивать траву в мешок.

Испугалась я этой Дурной Бабы не на шутку, но виду не подавала. Рву бурьян, а сама прислушиваюсь к каждому шороху. «Если появится Дурная Баба и погонится за мной, —

прикидываю, — брошу ей сначала мешок, пусть его разорвет. А потом стану убегать от нее и снимать с себя одежду, чтоб ей кинуть. Так и спасусь».

Вспоминая то время, я лишь много позже, когда уже стала взрослой, поняла, как тяжело было матери, как терзалось, рвалось в клочья, жгло болью материнское сердце. Утром, когда она нас будила, мы все, как один, начинали скулить, как голодные щенки: «Есть хочется!»

— Сейчас, детки, сейчас, милые, — говорила мать, украдкой вытирая слезы. А сама ставила на стол вареные картофельные очистки. И чтобы нас хоть немного успокоить, рассказывала стишок:

Плакала киска на кухне.
Глазки у киски припухли.
— Чем ты расстроена, кошка?
Может, поешь хоть немножко?
— Нет, ничего мне не надо.
Плачу же я от досады:
Повар пришел спозаранку,
Съел незаметно сметанку
И облизал еще ложку.
Съел, а свалил все на кошку!

Расскажет мама стишок, хоть сама она была неграмотной и в школу никогда не ходила, смотришь, уже и веселее.

Чуть полегче становилось, когда приходила весна. Тогда мы собирали цветки белой акации: из них мама пекла нам оладушки. Ешь их — и вкусно, потому что голод такой, что живот к спине прилипает. А потом и клевер зацветал. Насобираем розовых цветочков, мать разотрет их в ступке в тесто и опять печет оладушки.

Моя крестная однажды дала нам кусочек сала, чтобы подмазывать сковороду для жарки. Этот кусочек мать